

О ПРИНЦИПАХ ПОСТРОЕНИЯ ИСТОРИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КОНЦА XIX–ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА

© 2009 г. В. В. Полонский

В статье рассматриваются проблемы построения академической истории русской литературы конца XIX–первой половины XX века. Обозреваются различные подходы к решению этой задачи, воплощающие две основные тенденции в анализе литературной эволюции: одна из них исходит из взаимодействия словесности с иными социальными, идеологическими и культурными системами, другая – из ее имманентных движущих сил. В перспективе разработки истории литературы, синтезирующей обе тенденции, автор предлагает сосредоточить внимание на исследовании “малых историй” (жанров, стилей, литературно-общественных связей и т.п.) с целью в конце концов продемонстрировать их динамичную полифонию в целостном и противоречивом феномене русской литературы этой эпохи.

The article dwells on problems of composing the academic history of Russian literature of the late 19th and the first half of the 20th century. The author surveys different approaches to the subject vacillating between two principal tendencies in the analysis of literary evolution, the one based on its interrelationship with other social, ideological and cultural systems, the other reasoning from its immanent moving forces. Aiming at elaborating a comprehensive academic course of literature the author proposes to focus attention on working up “small literary histories” (those of different genres, styles, interaction with the society, etc.) to demonstrate their dynamic polyphony in Russian literature of the period as an integral, though problematical unity.

Современный исследователь словесности сталкивается с характерным парадоксом: чем больше выходит в свет новых научных трудов по частным литературоведческим вопросам, тем отчетливее осознание общего методологического кризиса в нынешней фундаментальной филологии.

И в этом смысле литературовед начала XXI века отнюдь не оригинален. Еще в 1926 году В.М. Жирмунский вспоминал о той жажде решения масштабных теоретических проблем, которую немецкая филология 1910-х годов так и не смогла утолить у тогдашнего студента и будущего классика отечественного литературоведения: “Я приехал в Германию с теми научными запросами, которые наше поколение тщетно предъявляло в самой России к преподаванию науки о литературе: с интересом к широкому синтетическим обобщениям в области философских, эстетических, культурно-исторических проблем. Вместо этого я столкнулся с исключительным господством филологических частных, черновой работы собирания и регистрации мелких фактов, которая из своей нормальной подчиненной роли в историческом исследовании выдвинулась на главенствующее, если не единственное, место” [1, с. 106].

Из этого порыва поколения молодых филологов начала XX века к “синтетическим обобщениям” родилась, как известно, большая “русская теория” в ее формалистских, бахтинских и прочих изводах, зачастую конфликтующих между собой, но равно

устремленных к постановке масштабных проблем с подчеркнутой исторической составляющей. В попытках преодолеть традиционный биографизм и позитивистский социологизм в историко-литературных построениях и найти для них принципиально новое научное обоснование поколение Жирмунского, Эйхенбаума и Бахтина обратило взоры к наследию А.Н. Веселовского с его грандиозным планом замещения традиционной истории исторической поэтикой литературы, построенной по жанровому принципу. Однако, как известно, в России реалии советских лет отнюдь не способствовали успешному решению этих задач. На вершину ценностной шкалы научным официозом к 1930-м годам вновь был вознесен традиционный историзм, с которым нынешняя эпоха, пережившая “бурю и натиск” борьбы с советским наследием, до сих пор так и не может до конца разобраться.

В принципе такое положение вещей имеет не только российское, но и общемировое измерение. Одним из показательных последствий современной девальвации масштабных фундаментальных научных проектов стал так до сих пор и не преодоленный кризис парадигмы традиционного историзма, которая со времен позитивистского XIX столетия полагала построение научной истории литературы эвристическим и ценностным пределом, к которому закономерно стремится любой филологический труд. Едва ли не последняя по времени из наиболее обоснованных и всеохватных попыток выра-

ботать адекватную методологию, способную восстановить в правах литературный историзм, была предпринята германской рецептивной эстетикой школы Ханса Яусса уже сорок лет назад [2]. Примечательно, что оба источника, синтезированные в этой концепции, – марксизм и формализм, – имели самое непосредственное отношение к русской науке, превращая ее в основной резервуар инструментальных решений для мировой литературной историографии. Эти две составляющих рецептивной эстетики обозначили разнонаправленные и в то же время взаимодополняющие векторы осмысления эволюции литературы: один из них рассматривал словесность как проекцию процессов, протекающих во внеположенных ей системах (в данном случае – социально-классовых), другой был сосредоточен на изучении имманентных, внутренних законов развития сугубо художественного феномена (“приема”). Но и методология Яусса при всей своей основательности так и не привела к созданию новаторских историй литератур – по причинам, которые требуют отдельного пространного обсуждения.

На рубеже XX–XXI веков, в эпоху “пост-новых” теорий, литературный историзм в западной науке зачастую воспринимается либо как средство тоталитарно-идеологического цементирования живой и ускользающей литературной органики либо как нечто просто бессмысленное и практически бесполезное: в программах европейских и американских университетов обычно отсутствуют сквозные и системные историко-литературные курсы, и потому, скажем, попытки российских филологов на международных конференциях поразмышлять о проблемах литературной историографии порой вызывают у западных коллег чувства искреннего недоумения.

В России в последние годы также стали общим местом концептуальные размышления о потере постсоветским литературоведением универсального методологического ключа, применение которого “не просто предполагало, оно требовало создания литературных историй, ибо конечное объяснение любой духовный феномен находил только в истории, через проявляющиеся в ней объективные закономерности. <...> Сейчас <...> понятие истории как процесса серьезно скомпрометировано, вызывает сомнение существование каких-либо общих исторических закономерностей, а история литературы как научный жанр представляется не отражением реальной действительности, а лишь языком описания, вполне условным” [3, с. 6].

И все же в отечественной науке в целом отношения с историей словесности складываются по сценариям далеко не однозначным. Для российского научного сообщества скорее характерна сложная диалектика притяжений и отталкиваний по отношению к былому методологическому историко-литературному монолиту. В результате ревизия советского наследия подразумевает сегодня не от-

каз от установок на построение истории литературы, а пересмотр основополагающих ее принципов. И прежде всего это касается русской словесности XX века (особенно его первой половины). Российская наука в ситуации постсоветского цивилизационного слома поставлена перед необходимостью пересматривать канон отечественного культурного наследия, и выбора у нее нет: академическая история литературы – наиболее действенный инструмент канонизации и одновременно самая авторитетная модель описания канонизированных феноменов, а значит, от нее никуда не деться хотя бы потому, что необходимо пересматривать университетские программы, основу которых неизменно составляет канон национальной классики. Причем его становление, как и прежде, рассматривается по принципу исторической динамики.

Именно по этой причине изучающие XX век русисты, которые в своих конкретных исследовательских сюжетах чаще других могут подпадать под обаяние леворадикальных западных “пост-постструктуралистских” методик, в целом остаются достаточно консервативными. Применимость категории историчности в научно-описательном аппарате на практике обычно не ставится ими под сомнение, равно как и методологический принцип, типологически повторяющий советскую матрицу историографии, – принцип обусловленности словесного феномена внелитературным фактом. Ярче всего это проявляется в вопросе о литературной периодизации, вокруг которой разворачиваются горячие споры. Ведь, в сущности, методологически нет никакой разницы, где, к примеру, обозначать верхнюю границу литературного цикла 1920-х годов: между 1932–1934 годами, когда выходит постановление ЦК “О перестройке литературно-художественных организаций” и созывается I съезд советских писателей, как то делали прежние хронографы советской словесности, или 1929-м годом, на чем настаивает сейчас А.Ю. Галушкин, связывая сталинскую формулу о “годе великого перелома” с делами Б. Пильняка и Е. Замятина, разгромом “школы Перевезева” и группы “Перевал” [4]. В последнем случае описание литературной динамики структурно воспроизводит ту же советскую логику – историю рефлексов общественно-политических событий в сфере словесности, только при этом выводятся вперед факторы воздействия репрессивной государственной машины на литературу. И когда современные филологи [5] пытаются уравновесить ссылками на классика формальной школы свои попытки анализировать эволюцию словесности через “соотнесенность литературного ряда с прочими историческими рядами”, то они зачастую проходят мимо его важнейшего предупреждения о том, что “методологически пагубно” говорить о взаимодействии этих систем “без учета имманентных законов каждой системы” [6, с. 283].

Значительно дальше от академического образца советских лет – но не порывая с принципом соотношения с внешними рядами – стоят исследователи, в разных вариантах предлагающие выработать национальный извод литературной истории в парадигме англо-саксонской традиции *cultural studies*. Своеобразной “пробой пера” в этом жанре стала изданная еще в 1987 году парижская история русской литературы “серебряного века”, вышедшая впоследствии в русском переводе [7]. Здесь впервые в русистике воплощались неклассические принципы историографии: авторы описывали эволюцию литературной цивилизации, в которой словесный феномен многообразно отражался в зеркалах иных искусств и форм творчества (философии, живописи, театра, кино). Но в работах такого рода неизбежно сказывается характерный либеральный синдром современной западной университетской филологии: нарочитая селективность; недоверие к устоявшимся иерархиям, к исчерпывающим реестрам и конструкциям, осознаваемым как плод “тоталитарных” (“академических”) идеологий; перенос акцента на маргинальное, периферийное; боязнь гигантомании и тяготение к жанру сборника статей, подобранных более или менее случайно.

В случае с отечественным “серебряным веком” разговор о литературной историографии выдвигает к тому же на первый план целый ряд специфических проблем, связанных с характером этой эпохи и влияющих на научный язык и принципы ее описания.

Своеобразие рубежа XIX–XX веков в России выступает особенно рельефно в сопоставлении с тем, какое место занимал “период модерна” в анналах западной культуры. Большая или меньшая мера несовпадения универсального и уникально-национального в историографии, разумеется, неизбежна. Но в случае с русской литературой эта неизбежность должна быть возведена едва ли не в куб. По вполне ясным причинам. Во-первых, из-за неизбежной проблематизации вопроса “Россия и Европа”, стратегического единства, общего генезиса и одновременно, так сказать, тактической “разности” этих цивилизационных систем. И, во-вторых, по причинам куда более конкретным, теснее связанным с собственно литературой. В России, в отличие от Европы, интересующий нас период ознаменовал собой не просто важнейший этап перестройки аксиологической шкалы в искусстве, сопряженной с кризисом канона и базовых предпосылок классической эстетики. Он сопровождал собой крушение целой цивилизационной модели (“исторической России”) и ее полную замену моделью принципиально иной. А поскольку отечественная культура отличается пресловутым литературоцентризмом, любые понятия вроде бы чистой словесности в пространстве своего радирующего воздействия на “эсхатологию русского космоса” наполняются дополнительной, ценностно сверхнагруженной, историософской – если не религиозной – семантикой. К этому следует

добавить еще одно. В истории русской литературы период рубежа XIX–XX веков занимает место, аналогов которому в западных литературах этого времени мы, наверное, не найдем. И дело даже не в том, насколько мощным было явление русского символизма. Дело в том, что уже с 1910-х годов в России порубежье стало осмысляться как апогей национального культурного развития, период максимального расцвета (“возрождения” и т.п.) русских творческих сил. Сложность состояла в том, что литература конца XIX–начала XX в. вращаясь в роль этапа *акмэ* в динамике отечественной культуры, параллельно вырабатывала метаязык осмысления этой динамики, тем самым формируя иерархию ценностей и канон национальных достижений, прочитывая “золотой”, пушкинско-гоголевский период истории по собственным “серебряновечным” лекалам, которые отчасти до сих пор определяют наш взгляд на “пленум Муз” начала XIX столетия. Тем самым “золотой век” как бы абсорбировался “серебряным” и невольно “передавал” ему функцию канонопорождающего метатекста культуры, приблизительно так же, как “текст античности” передал на полтысячелетия ранее сходную роль итальянскому ренессансному гуманизму.

Но подобную процедуру русский “серебряный век” произвел не только по отношению к национальному прошлому, но во многом и по отношению ко всей предшествующей мировой культуре. В силу опять же своей специфики. Типологически отечественный рубеж XIX–XX столетий относится к тем эпохам в истории мировой литературы, которые академик Н.И. Конрад называл “крайними” или “переходными”, считая, что одна из главных их отличительных черт – тенденция к “возвратному” движению культуры к своим истокам [8, с. 423].

Такие “поздние”, пороговые культуры и литературы носят резюмирующий характер по отношению ко всей предшествующей им традиции. Они аккумулируют в себе накопленные за века смыслы, художественные решения, эстетические модели, мотивы и образы. Они становятся энциклопедией всего многообразия написанного и осмысленного за предыдущие столетия. Это растянутое во времени наследие собирается в одной точке и складывается в единую мозаику. Разные этапы прошлого сосуществуют в настоящем как некая всегдашняя актуальность. Настоящее их каталогизирует, реаранжирует, выкладывает из этих текстов былой культуры новые узоры на плоскости сегодняшнего дня, который таким образом размыкается в некое вневременное пространство вечных смыслов. Пороговая литература, неизбежно инфицированная эстетским упадничеством, но в то же время раскрывающая возможность новых прорывов, адаптирует разные культурные наречия и формирует некий универсальный, синтетический язык, чрезвычайно богатый, рафинированный, утонченный, пластичный, гибкий. Глубоко усвоенный, этот язык

становится *lingua franca* всей предшествующей многовековой культуры, “введением в грамматику” литературной традиции, что и предусматривает, в частности, выработку своих претендующих на универсальность методов историографической фиксации этой традиции.

Все сказанное не просто характеризует русский литературный “серебряный век” – в нем эти закономерности выявлены с совершенно особой рельефностью и полнотой. И в силу тех же закономерностей “серебряный век” во многом переписал историю предшествующей русской и мировой литературы и тем самым вписал себя в историческую перспективу по тем принципам, которые были особо близки культуристам рубежа XIX–XX столетий. Один из важных результатов такого положения вещей состоит в том, что литераторами “серебряного века” оказалось отчасти абсорбировано не только прошлое, но и будущее – благодаря особому влиянию, которое они оказали на язык историко- и теоретико-литературных построений последующих десятилетий.

Даже использование современными отечественными филологами таких неизбывных “героев” истории литературы, как разнообразные “измы” и прочие эстетические понятия, во многом обусловлено контекстом рубежа XIX–XX веков, метаописаниями этой эпохи ее ведущими деятелями. Так, термины “декадентство”, “символизм” и “импрессионизм” (по отношению к литературе) активно и быстро входят в русский культурный обиход с 1892 года, когда происходит несколько значимых литературных событий: Мережковский выпускает сборник “Символы” и выступает с программной лекцией “О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы”; в № 9 “Вестника Европы” выходит статья Зинаиды Венгеровой “Поэты-символисты во Франции”, впервые знакомящая широкую читательскую аудиторию с явлениями новой европейской поэзии; наконец, публикуется книга Макса Нордау “Вырождение”, с сочувственной рецензией на которую уже в январе 1893 года в “Русском богатстве” выступит авторитетнейший “народнический гуру” Н.К. Михайловский. При этом всем перечисленным авторам свойственна чрезвычайная семантическая размытость в употреблении основных программно-теоретических дефиниций. Мережковский определяющие признаки новой литературы сводит к таким чересчур общим понятиям, как “мистическое содержание, использование символов и расширение художественной впечатлительности”, а Михайловский направленные категории (символизм) смешивает со стилистическими (импрессионизм) – для него это неразличимые элементы единого процесса “художественного выражения” “вырожденческих тенденций”. Но что существенно: подобное неразличение станет общей чертой так называемой демо-

кратической, а затем и советской критики и благополучно доживет в десятках работ до наших дней.

У того же Мережковского в упомянутой лекции потенциально присутствовала заявка на построение целостной универсальной эстетической системы, в которой символизм станет глубинным свойством подлинного художественного языка любой эпохи и любого народа. Этот потенциал будет развит следующим поколением русских модернистов – младосимволистами, вошедшими в литературу на рубеже 1890–1900-х годов, у которых, по справедливому замечанию А. Хансена-Леве, “мифопоэтический космос” будет “строиться как крайне абстрагированная и синтетическая система”, последовательнее всего проявляющая себя “метамифологическими или философскими спекуляциями в теоретических жанрах” [9, с. 110–111]. Добавим, что эти “спекуляции” показали удивительную способность “влиять на будущее” научной мысли. Отсюда – зависимость академической филологии, в том числе и историко-литературных штудий, XX–начала XXI века от теоретических положений Вяч. Иванова, Андрея Белого и др.

Отдельный и очень крупный вопрос, требующий самостоятельного обсуждения, – обозначение генетической связи многих ведущих явлений современной гуманитарной, в том числе западной, мысли, через посредство, как минимум, Бахтина, формалистов, научной и религиозно-философской эмиграции, с русским модернизмом начала XX столетия. Ограничимся лишь указанием на один характерный пример – глубокую обусловленность структуралистских концепций мифопоэтики оргиастическими аспектами культурологии русского символизма, прежде всего Вяч. Иванова. По этому поводу современный исследователь проникательно замечает: “Структуралистская теория мифа, как она была сформулирована Юрием Лотманом, Зарой Минц, Борисом Успенским и др. в 70-е и 80-е годы, отнюдь не универсальная мифология и формальная конструкция в нейтральных рамках новейшей семиотики и теории коммуникации; она оказывается глубоко вписанной в традицию русской мифологии, которая является обработкой и стилизацией одного определенного мифа – мифа Диониса. Эта мифологическая традиция, исходящая в значительной степени от Александра А. Потебни и Александра Н. Веселовского (*так!* – В.П.), достигает кульминации в начале XX века и выказывает здесь свою мифологичность в своеобразном так называемом дионисийстве русского символизма. Постсимволистская мифология, культурологические теории и разные концепции первобытного мышления развиваются Николаем Марром, Ольгой Фрейденберг или даже Игорем Франк-Каменецким в

форме отталкивания этой существенной связи с мифом Диониса” [10, с. 35].

В общем и целом в истории национальной культуры русский “серебряный век” обладает, наверное, типологически тем же системообразующим значением, какое имели Ренессанс для Италии, классицизм и Просвещение для Франции, елизаветинская эпоха для Англии, романтизм для Германии. С одним принципиально важным отличием. Ни в одной из перечисленных старых больших европейских культур подобный период *акме* не совпал с исторической катастрофой, крушением всей ценностно-экзистенциальной парадигмы. Причем в очень большой степени установка на подобное крушение являлась частью эстетического задания многих деятелей русского модернизма и входила в его ценностное поле как одна из смыслопорождающих констант. Без учета этой “страстной жажды” апокалиптических вихрей, доходящих порой до почти суицидального зуда, невозможно понять ни русской литературной опьяненности нищенскими идеями, ни политической открытости Блока и Белого скифским откровениям большевизма, ни самой природы русского революционного авангарда.

Такой контекст подразумевает удвоение ставок, как только мы заговариваем о понятийном аппарате, описывающем историю русской литературы этого периода, резкое повышение себестоимости каждого термина и напряженную полемику вокруг него, может быть, не всегда понятную специалистам по литературам стран с более спокойным прошлым. Это проявляется уже в случае с самым ходовым сочетанием – “серебряный век”. Свидетельство тому – монография О. Ронена, автор которой, вскрывая первоначальный, наиболее конкретный, смысл этой античной металлургической метафоры (акцентирующей “вторичность” и дешевизну серебра по отношению к золоту), призывает ее “изгнать ее из чертогов российской словесности” [11, с. 124]. Разумеется, первый довод в полемике с автором этой – в общем блистательной по исполнению – работы неизбежно сводится к тому, что ныне вряд ли многие вкладывают оценочный смысл в понятие “серебряный век” и воспринимают его иначе, как нейтральное указание на определенные временные рамки. И все же то, что подобные споры до сих пор до конца не ушли в прошлое, – показательно. Коллизию, наверное, можно представить так: протесты против вторичности металлургической метафоры раздаются из уст специалистов, для которых канонизация “серебряного века” как системообразующей эпохи для русской литературы видится актуальной проблемой; “спокойно-хронологически” это сочетание воспринимают те, для кого это уже свершившийся факт. Но поскольку в любом случае существует еще и век золотой, а порубежье стало знаменем трагического конца, то проблематизация этого факта – вещь неизбежная и

коллизия пока вряд ли может быть разрешена так, чтобы удовлетворить все стороны.

Из всего сказанного о “серебряном веке” применительно к вопросам литературного историзма можно вывести заключение, которое имеет принципиальный методологический смысл: в поисках новых путей построения научной истории русской литературы столетней давности современному исследователю волей-неволей приходится балансировать между погруженностью в исторический язык описываемой эпохи, репутация которого очень высока, и позиций стороннего наблюдателя, чей инструментарий независим от этого языка и потому более объективен. Отсюда – неизбежная уязвимость, пожалуй, любых возможных ныне решений историографических проблем. Но из этого, конечно, не следует, что такие проблемы не нужно ставить и осмыслять.

В России за последние годы неоднократно делались попытки пробиться от методологической эклектики к системным и фундированным принципам построения истории литературы в соотношении с внешними семиотическими и идеологическими рядами. Так, Д. Бак методично настаивал на “поисках схождения между фактами, лежащими в разных плоскостях литературы и жизни, художественного текста и бытового поведения” [12, с. 31]. Г. Белая предлагала в описание литературной эволюции ввести понятие “экзистенциальной парадигмы”, являющейся “суммой существенных для культуры вопросов и ответов” [13, с. 15]. А К. Исупов, в свою очередь, призывал учитывать спаянность отечественного художественного слова с философией и богословием, дабы в конце концов дело могло вершиться созданием тематического словаря русской классики [14].

Возникает вопрос, возможно ли при построении новейшей истории русской литературы XX века даже те подходы, которые засвидетельствованы многочисленными приведенными выше примерами, каким-то образом органично синтезировать, согласовать между собой, отсеяв лишнее и соединив оставшееся с заповеданным формалистами анализом имманентных особенностей эволюции художественных фактов. Иными словами – сделать приблизительно то же, чего пытались добиться представители школы Яусса по отношению к литературной историографии в целом, но уже в новых условиях – на русском материале конца XIX–XX в. – и с учетом (и позитивным, и негативным) достижений западной “новой теории”, русского структурализма, бахтинизма и т.п. Теоретически это не исключено. Но практически на сегодняшний день вряд ли достижимо – учитывая распыленность нынешних филологических сил в русистском литературоведении, точечность отдельных методологических прорывов, отсутствие полнокровных академических школ (и московско-тартуский

структурализм, и бахтинизм, и иные серьезные научные общности по сути переживают свой “постисторический” период).

И тем не менее двигаться к созданию стереоскопичной, синтетичной истории русской литературы ушедшего столетия, разумеется, нужно. И на этом пути, наверное, весьма полезным окажется выявление и научное описание максимально возможного – но исчислимого, не безмерного – множества самостоятельных причинно-следственных цепей в развитии литературы. По-настоящему эвристическим потенциалом на сегодняшний день может обладать только многоголосие сосуществующих “малых историй”, способных обозначить реальное многообразие векторов эволюции внутри литературы. И начать здесь можно, в духе заповеданного исторической поэтикой А.Н. Веселовского, с анализа процессов имманентной художественной динамики жанра и стиля.

Так, в случае с поэзией жанрово-стилистический метод в целом подтвердит правоту классических советских указаний на 1917 год как пороговый в истории литературы. Именно тогда начинается возрождение поэмы, меняется жанровый репертуар лирики: уходят реанимированные в 1900-е канонические и строгие строфические формы, восстанавливается в своих правах жанровая система 1880-х. Но в том, что касается прозы, значимых совпадений имманентной эволюции с логикой общественно-политических событий уже не будет: точками смены художественных систем здесь нужно признать рубеж 1900–1910-х гг., когда в центр стиливого процесса выходит “необарочное”, авангардно-орнаментальное письмо, обращающее символистский принцип “соответствий” между “реальным” и “реальнейшим” в лейтмотивную структуру игрового пространства текста (А. Белый, А. Ремизов, Е. Замiatин и др.), а в жанровом репертуаре эпика повесть вновь уступает ведущие роли роману и рассказу (новелле). В этом случае момент качественного жанрово-стилевого скачка совпадает с точкой перелома в истории литературных направлений – кризисом символизма, формированием постсимволистских движений и т.п. Хронологическая и типологическая разность эволюционных процессов в эпике, лирике и драме неизбежно поставит перед учеными сложную проблему поиска адекватного научного языка для описания внутри единого организма словесности полифонии относительно самостоятельных эстетических систем, каждая из которых связана индивидуальными нитями с иными факторами эволюции, в том числе и во внелитературных рядах.

Такой подход позволит преодолеть дефицит доверия к историзму, заложенный постструктуралистским тезисом о “разрывах” между разными (и в сущности – мнимыми, необязательными) логикособытийными закономерностями, “метаповествованиями” в культуре (Лиотар), которые могут сло-

житься разве что в “хаологию” (Ж. Баладье), но никак не в эволюционную теорию. Позволит он критически переработать и точку зрения Ю.М. Лотмана, выраженную в его последних прижизненных работах, как последовательный ответ на деконструктивистский вызов историзму. Имеется в виду синергичный (в терминологии И. Пригожина и Л. Стенгерс) анализ истории – в том числе литературы, – который выявляет на кризисных этапах (а именно таковым и был отечественный XX век) бифуркационное, “ветвящееся” развитие основополагающих для системы оппозиций, влекущее за собой перенос акцентов с повторяющегося на случайное и с общего на индивидуально-личностное, прежде почти незаметное, периферийное.

Предлагаемый нами анализ “малых историй” (жанрово-родовых, стилевых и т.п.) внутри общей эволюции литературы как макроцелого, очевидно, выявит еще более разнообразные и конфликтные механизмы взаимоотношения частей единой системы. Ведь, как справедливо отмечает М.С. Каган, социокультурные структуры «не бинарны по своему строению, а тернарны, тетрарны и т.д., не однородны по их субстрату, а разнородны, не одноуровневые, а многоуровневые, что позволяет назвать их не просто “сложными”, а “сверхсложными”» [15, с. 81]. Сегодня по-настоящему состоятельной может быть только такая академическая история литературы, которая учтет эту “сверхсложность”, представив эволюцию отечественной словесности прошлого столетия не в виде стройной одномерной схемы, цементированной навязанными универсалиями, а как пучок многовариантных линий развития, причем акцент здесь будет неизбежно ставиться на несхождении схожего, на разности происходящего в соседних рядах – собственно-литературных, общественно-политических и т.п.

Подобный подход, думается, способен плодотворно синтезировать понятийные ряды русской, европейской и американской литературной науки. Хотя до его полноценного воплощения в жизнь филологии еще предстоит пройти немалый путь.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Жирмунский В.М.* Из истории западноевропейских литератур. Л., 1981.
2. *Jauss H.R.* Literaturgeschichte als Provokation. Frankfurt am Main, 1970.
3. История литературы Италии. Т. I: Средние века. М.: ИМЛИ РАН, 2000.
4. *Галушкин А.Ю.* Из истории литературной “коллективизации” // *Russian Studies*. 1996, II, 2. Р. 56–73.
5. *Богомолов Н.А.* Несколько размышлений по поводу двух дат в истории литературы советского периода // Некалендарный XX век. Новгород, 2001.
6. *Тынянов Ю.Н.* Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977.

7. История русской литературы. XX век. Серебряный век. / Под ред. Ж. Нива, И. Сермана, В. Страды, Е. Эткинда. М., 1995.
8. Конрад Н.И. Запад и Восток. М., 1972.
9. Хансен-Леве А. Бахтинские мотивы в мифопоэтике русского символизма // Telling Forms. 30 essays in honour of Peter Alberg Jensen. Stockholm, 2004.
10. Мурашов Ю. Дионисийство символизма и структуралистская теория мифа (Вячеслав Иванов и Юрий Лотман/Зара Минц) // Russian Literature. 1998. № 11.
11. Ронен О. Серебряный век как умысел и вымысел. М., 2000.
12. Бак Д. История литературы: текст и быт // Вопросы литературы. 1996. № 3.
13. Белая Г. История литературы в контексте современной русской теоретической мысли // Вопросы литературы. 1996. № 3.
14. Исупов К. Оглянись на дом свой, или история литературы как исповедь духа // Вопросы литературы. 1997. № 2.
15. Каган М.С. О сфере действия и границах циклической структуры процессов самоорганизации природных и атропосоциокультурных систем // Циклы в истории, культуре, искусстве. М., 2002.